

## Виталий Львович Махлин: Socrates redivivus

### Философ филологу – идиот

Виталий Львович Махлин был назначен вести годичный курс истории философии на филфаке впервые как раз тогда, когда я училась на втором курсе этого факультета бывшего МГПИ им. Ленина, а затем МПГУ – того самого, где когда-то работал А.Ф.Лосев. Виталия Львовича с общеуниверситетской кафедры философии распределили к нам, по всей видимости, из-за его филологического прошлого: когда-то он закончил ИнЯз Мориса Тореза и защитил кандидатскую по специальности «зарубежная литература», по Хэмингуэю. После этого Махлин шестнадцать лет проработал в средней школе – правда, хорошей, английской, - преподавая там англоязычную литературу. Надо сказать, что эти десятилетия учительствования, к счастью, никак на нем не сказались. Его взгляд на людей так и не приобрел часто характерной, увы, даже для самых любимых, самых демократичных и самых грамотных позднесоветских учителей уверенности в том, что они знают и понимают своего собеседника и/или ученика, кем бы он ни был, лучше, чем он сам себя знает и понимает. Он не только по профессии, но и в жизни, в общении со всеми нами, даже с самыми недалекими и приземленными, был и есть *philosophos*: то есть тот, кто, по слову Сократа, никогда не осознает себя «законченным мудрецом», а вечно остается лишь «любителем мудрости». Без претензий на обладание «избытком авторского видения», с постоянным осознанием и ощущением первостепенной важности Другого, «диалогически» – если прибегнуть к терминам столь любимого им и ставшего подлинным делом его жизни М.М. Бахтина. Учительствуя, он просто ждал своего часа и в свободное время занимался своей *настоящей* работой: читал Бахтина, Хайдеггера, Гадамера, Шпета, Ухтомского; готовил для ИНИОНа рефераты гуманитарной литературы, издававшейся в Европе и США, – благо, владение английским, французским и немецким (итальянский и испанский пришлось к ним добавить позже) позволяло быстро ее осваивать; писал кое-что и учился *философскому* переводу.

«Гуманитарность» Виталия Львовича – не просто уважение к более «практическим», нежели философия, областям гуманитарного знания – в первую очередь, к филологии и истории. Филологию и историю он, специалист по философскому наследию М.М.Бахтина и по истории герменевтики, почитал тем, без чего подлинная философия сегодня невозможна: ведь смысл – не абстракция; он всегда имеет материальное, телесное воплощение – в первую очередь, в языке; он укоренен в конкретном событии и составляет как поступок. Телесность, историчность и событийность смыслов должна быть противопоставлена «платонизму варваров» - абстрактному идеализму и беспочвенному теоретизированию. «Герменевтика фактичности» - единственно верный путь онтологического исследования после того, как в начале XX в. в истории постромантической европейской мысли произошло главное событие: «переход от мира науки к миру жизни». «Философ для филолога – идиот», - назидал философ Махлин нас, филологов, *ex cathedra*. Вспомнив здесь Бахтина, следует сказать, что слова эти производили «антикарнавальное» воздействие: идиотами в этот момент чувствовали себя как раз филологи, которых махлинское речение *об идиоте* преисполняло ужаса и почтения перед философом, ибо эзотерическая сложность его мысли лишь подчеркивалась нарочитой грубостью слов.

## **Профессора обычно хрупки, робки...**

Один из моих соучеников некогда интерпретировал клише «далекости» людей науки от практической жизни и неизбежности катастрофы при столкновении с нею в таких вот поэтических строках: «Профессора обычно хрупки, робки, // Ложатся спать в картонные коробки...». Мне могут возразить: солидная часть профессорского сословия вполне прилично подзарабатывает репетиторством, регулярно лежит под своими «Ладами» и «Шкодами», пилит дрова на профессорских дачах и там же собственноручно жарит шашлык. Не могу себе представить, чтобы сноровка Виталия Львовича простиралась дальше приготовления кофе (очень хорошего, надо сказать). Он действительно иногда далек не то чтобы от практической жизни, а, скорее, от обыденного прагматизма. Он непрактичен той самой непрактичностью, которая на самом деле означает самую подлинную и глубокую форму понимания жизни и причастности ей. Той непрактичностью, которая некогда пробудила ненависть афинян к Сократу и навлекла на него обвинения в том, что он развращает юношей, научая их поклоняться новым и не известным доселе богам.

Мне часто доводилось видеть, как непрестанно угрожающая самому существованию Махлина внутренним коллапсом тонкость и восприимчивость его «кожи», совершенное отсутствие иммунитета к бытовому, административному, академическому и прочему абсурду компенсируется действием того, кажется, единственного оружия, которым наделила его природа: иронии (припомню пару псевдонимов, которыми он подписал собственные переводы очень не понравившихся ему иноязычных статей для книги о Бахтине, - Ипполит Эспуэзов и Маркс Капитонович Шнеерсон-Аксенов) и особого «махлинского» смеха – громкого, неожиданно тонкогласого, узнаваемого за версту. Резкими и даже бранными словами он не гнушается, но когда их употребляет, они действительно кажутся наделенными той силой, которую узрел Бахтин в ругательствах простонародья, преображенных гением Рабле: обновляющей и вселяющей надежду на воскресение к лучшему бытию. Его речь, переполненная аллюзиями, отсылками и осколочными цитатами, терминами как чужого, так и его собственного изобретения (чего стоит хотя бы «трансцендентальная рокировка!»), и обильно сдобренная остротами (как правило, эротического содержания) требует напряжения всех понимающих органов, порой совершенно изматывающего, - такого же, как чтение «Гаргантюа и Пантагрюэля» или «Москвы –Петушков». Например, положение вещей в гуманитарных науках рубежа тысячелетий он описал в таких вот немногих словах: «Свобода, б..., или Каждый сам себе Хайдеггер».

## **Сократ и силены**

На Сократа Махлин похож как две капли воды. Даже внешне – если верить тому, как его изображали древние. Мы заметили это на первой же его лекции. Невысокого роста, «не толст, но и не то чтобы слишком тонок», с усами и, главное, с обрамленной короткими седыми кудрями лысиной. Эта лысина сразу сделалась для нас особым внешним знаком и подтверждением махлинского сократизма. Если бы ее не было, его образ не был бы так непререкаемо завершен (некоторые из нас во время лекций обожали рисовать его портреты ручкой в тетрадке).

Читая заданный Махлиным «Пир» Платона, мы опознавали нашего философа в пьяных речах сластолюбца Алкивиада, рассыпающегося в двусмысленно-скабрёзных похвалах Сократу: «А Сократ и в повадке своей, и в речах настолько своеобразен, что ни среди древних, ни среди ныне живущих не найдешь человека, хотя бы отдаленно похожего на него. Сравнить его можно, как я это и делаю, не с людьми, а с силенами и сатирами – и его самого, и его речи...» . И, мол, речи его – словно кривобокие, косматые, рогатые да пузатые статуэтки лесных чудищ, внутри которых художники прячут прекрасные изваяния *подлинных* богов и богинь.

Особенно страдали от махлинских занятий записные ботаники, привыкшие, что восторг преподавателя можно вызвать, выучив наизусть учебник. Здесь такой номер бы не прошел – это стало ясно с первых пар. Но очень быстро сообществу ботаников возникла альтернатива. Наши скудные студенческие доходы уходили на покупку книг, которые он упоминал в лекциях (я до сих пор пользуюсь изданиями Хайдеггера и Гадамера, купленными в начале 90-х), а наше время – на их чтение, часто в ущерб подготовке к семинарам по более «профильным», чем философия, предметам.

Махлин поражал нас отчаянно противоречащей всему укладу пединститутской жизни манерой читать лекции. Если бы он преподавал сейчас так, как преподавал нам двадцать лет назад, – скажем, если бы он работал в современной Вышке, - студенты писали бы жалобы после каждой пары. Десятки новых терминов и неизвестных нам имен произносились как нечто азбучно известное, полунамеком обозначались или попросту оставлялись «за кадром» содержания, от которых кипели мозги. И эти названия, имена, тезисы, казавшиеся нам поначалу китайской грамотой, Махлин выговаривал так, что становилось ясно: он этим живет, и если мы этого не знаем – значит, нам *жизненно* чего-то очень существенного недостает. А чего стоили отступления от программы и от темы занятий – порой катастрофически долгие, целиком исчерпывающие отведенное на лекцию время! Длина этих незапланированных эскапад представляется мне сейчас мериллом исследовательской честности: ведь бывает так, что не относящийся к заявленному сюжету лекции смысл тезиса, понятия, события просто невозможно опустить или обойти стороной... Правила дидактики запрещают отклоняться от избранной темы – но на этом настаивает сама жизнь.

### **Неофициальное. Makhlos**

Домашние семинары, составлявшие львиную долю самых интересных университетских (и не только) занятий в позднесоветскую эпоху, до конца 80-х имели то преимущество, что на кухне можно было говорить о том, о чем не скажешь в аудитории даже при закрытой двери (ведь «нельзя» было отнюдь не только антиправительственные анекдоты, но и Библию; да и Джойса с Прустом или, скажем, Хайдеггера «можно» разве что в русле критики буржуазной идеологии). В 90-е, когда все запреты были сняты, у домашних занятий нашлось другое преимущество: на них стало уместно то, что в аудитории оказалось невостребованным – из-за падения престижа некоммерческих специальностей и/или в силу тотальной трудовой занятости постсоветского студенчества. Осенью кризисного 98-го я придумала переводческий домашний семинар. И несмотря на немалое уже число проектов, книжек, конференций, семинаров, учебных путешествий - всего того, что я еще придумала с тех пор, - этот семинар, в разных, но по-прежнему домашних,

формах живущий и ныне (то есть спустя четырнадцать лет после его открытия), я считаю самым правильным и нужным моим изобретением. Осенью 98-го это была «ученая» версия пира во время чумы: нашего Профессора мы по мере скромных своих финансовых сил подкармливали (в буквальном смысле – клали в лежащий на общем столе конверт, кто сколько мог), а Профессор – цитирую его - «лишал нас переводческой невинности». Простая истина - «для того, чтобы переводить, надо понимать» - на практике означала возможность перевести от силы пять-шесть предложений за три-четыре часа. Помню, однажды я расплакалась: после трех часов сидения над одной-единственной, и не самой сложной, фразой из небольшой статьи Эриха Ауэрбаха «Филология мировой литературы» перфекционист Махлин очередной раз отверг предложенный кем-то из нас перевод.

В довольно позднем уже возрасте начав заниматься древнегреческим, Махлин случайно нашел в словаре Вейсмана созвучное с его (отнюдь не греческой) фамилией слово *makhlōs* и впоследствии с некоторым даже удовольствием цитировал нам его значения: «Страстный, яростный... похотливый!». Страстность и яростность в нем, в обыденной жизни – примерном семьянине, человеке доброжелательном, кротком и склонном, скорее, к бытовому аскетизму, - просыпается, когда ему становится интересно. Он легко увлекается – поэтому безжалостно ломает регламент, выступая на конференциях или оппонируя на защитах диссертаций (некогда отзыв на мою диссертацию об экзегезе Августина длиной превысил авторский лист). Начав читать диссертацию собственного аспиранта или докторанта, он почти всегда испытывает сильное искушение переписать ее целиком (и иногда этому искушению поддается). На всевозможных академических собраниях он не может промолчать, если чьи-то выступление или реплика вызывают у него активное несогласие. Ясно, что такую манеру поведения в академическом сообществе можно оценить – и действительно оценивают – очень по-разному. Но для меня выбор Учителя, сделанный двадцать лет назад, по мере преодоления детской полубессознательной восторженности усилиями как интеллекта, так и совести, становится все более обоснованным. Иногда мне кажется, что вся моя учеба и вся проделанная мною за двадцать лет научная работа – только подготовка к совместной работе с ним. И может быть, настанет время, когда мы вместе напишем книгу. О Джамбаттисте Вико. Или о Михаиле Бахтине.